

Мэри Уэбб

Золотое
урокчаше



настроение читать

Мэри Уэбб
Золотое проклятье
Серия «Настроение
читать (Азбука-Аттикус)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74210351

*Золотое проклятье. роман: Азбука, Издательство АЗБУКА; СПб;
2026*

ISBN 978-5-389-34428-0

Аннотация

Мэри Уэбб – английская писательница и поэтесса начала XX века, «забытый гений», чье творчество долгие годы было почти неизвестно в России. Уэбб (в девичестве Мередит) родилась в Лейтоне, небольшой деревне в графстве Шропшир. Ее мать, Элис, происходила из семьи сэра Вальтера Скотта, знаменитого шотландского писателя. Мэри была старшей из шести детей. Когда ей было 14 лет, мать тяжело заболела, и на плечи девочки легла забота о младших братьях и сестрах. Отец, учитель сельской школы, с детства прививал дочери тягу к литературе и любовь к местной природе, которой пронизано все ее дальнейшее творчество. «Золотое проклятье» (1924) – одно из самых успешных произведений Мэри Уэбб. В 1926 году книга была удостоена французской премии «Фемина» как лучший зарубежный роман (в числе

номинантов этой премии в разные годы были такие английские писатели, как Эдвард Форстер и Вирджиния Вулф). Действие романа, как и других произведений Уэбб, разворачивается на фоне поэтичных шропширских пейзажей и переносит читателей в начало XIX века. Это светлая и трогательная история девушки, отмеченной судьбой, для которой ее «проклятье» становится источником внутренней силы и через боль и страдания помогает обрести любовь.

Впервые на русском языке!

Содержание

Предисловие	7
Книга первая	10
Глава первая	10
Глава вторая	16
Глава третья	33
Глава четвертая	39
Глава пятая	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Мэри Уэбб

Золотое проклятье

Mary Webb

PRECIOUS BANE

© Н. Ф. Роговская, перевод, 2026

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

настроение читать

Мэри Уэбб

Золотое
проклятье



Санкт-Петербург

Предисловие

Погрузиться хотя бы на миг в настроение тихой грусти, которым всегда окрашено прошлое, – это как попытаться обнять гиацинтово-синие дали. И если удастся – о, какая отрада! На тебя вдруг повеет нежным, едва уловимым ароматом весенних цветов, высушенных вместе с бергамотом¹ и лавром. Невольные слезы брызнут из глаз на старый пергамент, когда прочтешь: «...а моей милой доченьке на память обо мне – мои лекарства и колечко»; или на пожелтевшие письма, которые все еще дышат любовью, хотя их чернила поблекли: «...и на сем доброй ночи, сердце мое, дай Бог тебе счастья!» Слова оживут, но их настоящее так зыбко! Однако прошлое – это не более чем настоящее, ставшее невидимым и безмолвным; и поскольку оно невидимо и безмолвно, хранимые памятью взгляды и шепоты бесконечно дороги нам. Мы и сами – завтрашнее прошедшее. Прямо сейчас мы медленно исчезаем из виду, точно картинки на движущемся циферблате старинных часов: корабль, сельский дом, солнце и луна, букет цветов... Циферблат вращается, корабль взмывает вверх и снова падает вниз, восходит желтое нарисованное солнце, и мы, некогда знаменовавшие собой все новое,

¹ Имеется в виду монарда – травянистое растение с запахом апельсина-бергамота, известное в Англии под названием «дикий бергамот» или просто «бергамот».

уходим и уносим частицу волшебства. И хотя нынче в наших домах не слышать ни жужжания прялки, ни ритмичного стука подножек ткацкого стана, ни быстрого шелковистого шелеста «челнока-самолета», ни гулко-го «бум» деревянного бёрда, в нашем воображении мы еще слышим все эти звуки – эту песнь любви.

Когда приметы старины – одновременно и приметы сельской жизни, писать о них намного легче, потому что в сельской жизни есть постоянство и преемственность, благодаря чему дистанция длиною в век или два кажется несущественной.

Шропшир – графство, где благородная красота старины продолжает жить и поныне, и мне посчастливилось не только родиться и вырасти в этой волшебной атмосфере и обзавестись многочисленными друзьями, чей милый деревенский разговор и память о былом воспламеняли мое воображение, – мне посчастливилось иметь такого отца, каким был мой отец: в его голове хранились предания и легенды, которых не сыщешь в книжках, в его душе жила негасимая любовь к красоте лесов и полей, особенно пронзительная, быть может, оттого, что так редко могла себя выразить.

Что касается древнего обряда «грехоедства», то его раньше меня и с непревзойденным мастерством описал Уильям Шарп². Однако это явление не исключительно шотландское;

² Уильям Шарп (1855–1905) – шотландский писатель; с 1893 г. издавался под псевдонимом Фиона Маклауд. Рассказ «Грехоед» («The Sin-Eater», 1895) вошел

в старину о нем хорошо знали и в наших краях, на границе с Уэльсом. Об одном таком грехоеде упоминал еще Джон Обри³; по его словам, человек этот жил в «хижине на дороге в Росс»⁴ и был «беден как церковная мышь».

Я должна выразить благодарность авторам книги «Шропширский фольклор»⁵ за тексты песен «Зеленая тропинка» и «Далеко ль до Барли-Бриджа» и за возможность уточнить разные местные обряды и традиции, о которых мне было известно лишь понаслышке; а также сомерсетским ткачам, которые познакомили меня с работой на прялке и ручном ткацком стане.

Мэри Уэбб

Март 1926 г.

в одноименный авторский сборник мистических историй.

³ Джон Обри (1626–1697) – писатель, антиквар, один из первых английских археологов и фольклористов.

⁴ Имеется в виду городок Росс-он-Уай в графстве Херефордшир, близ границы с Уэльсом.

⁵ Авторы книги, опубликованной в 1883 г., – Джорджина Фредерика Джексон (составитель) и Шарлотта София Берн (редактор).

Книга первая

Глава первая Сарнмир

Кестера я впервые увидела на сидинах, или супрядках. И если в нынешние новые времена, когда со всех сторон нас обступают диковинные изобретения и кое-где у нас в стране, как я слыхала, появилась даже машина для жатвы и косьбы, — так вот, если теперь кто-то уже не знает, что такое сидины, я расскажу в свое время. А в тот день все собрались ради Джансис Бегилди, и, хотя ей в ту пору было двадцать три, а мне на два года меньше, это еще не начало истории, которую я собираюсь поведать.

Кестер говорит, что все истории — правдивые истории жизни или красивые истории любви — берут начало даже не в детстве и даже не в камышовой колыбели. Вы-то, может быть, и не спали никогда в камышовой колыбели, но у нас в Сарне так повелось испокон века: нас всех качали в камышовой люльке. Чего-чего, а камыша в Сарне хватало, и жена Бегилди была большая мастерица плести детские колыбели на железных обручах от бочек. Плетеную корзину ставили на качалку, и получалась чудная колыбель, зеленая и мягкая,

и младенец лежал там важный, как гусеница в своем коконе. Будущая нарядная бабочка – только так называет гусениц Кестер. Кестер очень держится за такие вещи. Никогда не скажет просто «гусеницы». А скажет: «Много будущих бабочек у нас на капусте, Пру». И про зиму не скажет «зима», а скажет: «Лето крепко спит». И самый крошечный, самый невзрачный бутон Кестер назовет зачатком расцвета.

Но о Кестере после. Я хочу рассказать о всех нас, кто жил в Сарне, о маме и Гедеоне, о себе, о красавице Джансис и колдуне Бегилди и еще о нескольких наших соседях. Жителей в Сарне мало – и было, и будет, скорее всего. О Сарне говорят: неприятное место. Может быть, из-за плеска воды, месяц за месяцем, год за годом. Вода здесь повсюду, ты ее видишь и слышишь, куда ни глянь. А может быть, из-за больших деревьев справа и слева, которые все чего-то ждут, все думают о чем-то своем; или из-за вечного покоя, в который погружено это странное место – как будто Господь сотворил его меньше часа назад, и сотворил не для нас. А может быть, из-за бедной болотистой почвы с худосочной и малопригодной для корма травой; хорошо здесь растет разве только камыш, да болотная трава, да баранчики. Наверное, по-вашему это первоцветы, но мы зовем их баранчики – или небесные ключики. Посмотришь на сарнские луга, усыпанные желтыми первоцветами, и сердце радуется – сплошь золотые! По такому ковру зазорно ходить даже ангелам. А сделать цветочный мяч можно было скорее, чем дрозд дважды пропоет

свою песню: всего-то и надо присесть и, не сходя с места, нарвать охапку баранчиков. Всюду, куда ни глянь, золотые россыпи – всюду, но не вокруг озера, где начинались леса и уходила вдаль серая гладь воды, сверкавшая искрами на солнце. Ни лесá, ни вода не казались мрачными в погожие весенние дни, когда появляются первые листья и на верхушках берез набухают почки цвета неспелого пшеничного колоса. И только наш дубовый лес даже весной выглядел по-осеннему из-за того, что молодые листья дуба такие бурые. Поэтому у нас и в мае веяло октябрем. Но сидеть на лугу и смотреть на дальние холмы было очень приятно. Лиственницы рвались вверх своими светлыми юными побегами, золото первоцветов согревало душу, и Сарнское озеро, Сарнмир (или просто Сарн), расплывалось пятном голубого тумана в желтоватом тумане берез. И все вокруг дышало таким сонным покоем, что, если мимо пролетала пчела, а уж тем более шмель, ты вздрагивал, как от громкого крика. Залети сейчас пчела ко мне в окно, где на подоконнике стоит кувшин с желтофиолями, я вновь увижу все это и за лесами в лучах заката увижу другое озеро – Плашмир, похожее издали на осколок бутылочного стекла. Озеро Плаш больше нашего Сарнского, и на его берегах нет ни деревца, а у дальней оконечности холмы расступаются и облака растут из воды, словно белые кувшинки: на Сарнмире белая кайма из кувшинок держалась целых пол-лета. В Плаше не было ничего особенного, озеро

как озеро. Это вам не Сарн! Никакого возмущения воды⁶, никакой подводной деревни с колоколом, чей звук временами доносится из неведомой глубины. Недаром люди говорили про Сарн, что от него веет чем-то нездешним.

На Плаше жила семья Бегилди, и в их доме, наполовину каменном, наполовину пещерном, я выучилась читать. Должно быть, вам странно, что такая, как я, простая бедная женщина, знает грамоту и сумела изложить свою историю в книге. Еще бы не странно! Ведь когда я была молоденькой девушкой, немногие благородные леди (о других и говорить нечего) могли написать хоть что-нибудь, кроме любовной записки, а некоторые только и умели вывести на банке с желе: «айва и яблоки»; иные даже с трудом ставили свою подпись в церковной книге. Ко мне до сих пор, бывает, приходят и просят написать за них любовное письмо. Никому не пожелаю писать за других любовные письма, когда у самой душа огнем горит!

Если бы не мистер Бегилди, я никогда не написала бы всего этого. Он выучил меня читать и писать и складывать числа. И хотя он был вероотступник и хвастал, будто умеет делать то, чего, по-моему, не умел, и баловался такими вещами, в которые добрым людям лучше бы вовсе не лезть, я буду век благодарить Бога, что послал мне его! Не дивно ли управил Господь, заронив в сердце Бегилди охоту учить меня? Ведь это поистине диво, ибо колдун служит не Богу, а

⁶ Ин. 5: 2—4.

Люциферу. Нет, Бегилди не был злодеем, он просто не ведал добра, словно всякую праведность в нем испепелил неистовый огонь его ума, алкавшего темных тайн. Он был звездочет, предсказывал будущее и называл себя ловцом духов. Однажды я возьми и спроси, а где же то будущее, которое он видит так ясно. И он ответил: «Оно там же, где прошлое, дитя, в глубине времен». У мистера Бегилди на все был ответ! Но когда я передала его слова Кестеру, тот не согласился. Прошлое и будущее, сказал он, – два челнока в руках Господа, ткущего вечность. Кестер был ткач; наверное, потому и Создателя представлял ткачом. А по-моему, нам не дано знать, что есть прошлое и будущее. Мы так малы и беспомощны на земле – она для рода людского точно зеленая камышовая колыбель, и мы из нее смотрим на звезды, не понимая, что они такое.

Как только я выучилась писать, я сделала себе книжечку с коленкоровой обложкой и стала каждое воскресенье записывать в нее всякие веселые и счастливые случаи за минувшую неделю и таким образом сберегать их. А если времена были тяжелые и горькие для меня, я и это записывала, и на душе делалось легче. Поэтому, когда наш пастор, знавший, сколько неправды наговорили про меня, велел изложить в книге все, что я помню, всю правду и ничего больше, я смогла освежить свою память с помощью записей, которые вела воскресенье за воскресеньем.

Ну, теперь это все позади, и невзгоды, и тяготы. Теперь

тишь да гладь, словно безветренным вечером, когда кругом лежит снег, и небо зеленое, и блеют ягнята. Я сижу у огня, и у меня под рукой моя Библия. Очень старая женщина – усталая женщина... Но ей нужно завершить важное дело, прежде чем сказать последнее прости этому миру. Когда я смотрю в окно и вижу равнину и огромное небо с облаками, будто бы стоящими на горах, мне вспоминаются густые сырые леса Сарна, и стоны заледеневшего озера, и вода – как она заливала кладовку под лестницей во время оттепели. В Сарне неба почти не видать – кроме того, которое отражается в озере; но небо в озере не такое, как настоящее небо над головой. Ты видишь его сквозь темное стекло, и длинные тени от стеблей камыша ложатся тонкими черными линиями на скользящие звезды, и даже солнце и луна могут внезапно исчезнуть – луна иногда потеряется в листьях кувшинок, а цапля порой заслонит собой солнце.

Глава вторая

Разговор с пчелами

Мой брат Гедеон родился в тот год, когда началась война с французами. Потому отец дал ему воинственное имя – Гедеон⁷. Джансис всегда говорила, что оно ему в самый раз – оно бывает только полным, и никаким иным. Большинство имен можно уменьшить до ласкательных – укоротить, словно сюртук или платье, чтобы годилось ребенку. Но Гедеон есть Гедеон, ни убавить, ни прибавить. Каково имя, таков и человек. Я была привязана к брату, как мало какая сестра, но даже я понимала это. Если у тебя одно только полное имя для всех, то все о нем забывают. И почти никто в нашей округе не звал брата по имени. Его звали Сарн. Пока жив был отец, было два Сарна – старший и младший. А когда отца не стало, Гедеон все присвоил себе. В тот летний вечер брат вышел из дому и обвел взглядом отцовское хозяйство – прямо ел и пил его, пожирал глазами! Не из любви, а из жадности: прикидывал, сколько сможет выжать из фермы. Точь-в-точь наш отец, и чем дальше, тем больше брат становился похож на него, и внешне, и по складу ума. Правда, нравом он был потише, а упорством покрепче, но в целом – два сапога пара. Отец-то

⁷ Гедеон – «воин-рубака» (др.-евр.). Ратный подвиг библейского Гедеона описан в Книге Судей (гл. 6).

наш чуть что вспыхивал как спичка и в гневе рвал и метал, аки лев рыкающий. Наверное, оттого мама давно махнула на себя рукой и состарилась раньше срока. Гедсона я видела в гневе – по-настоящему злым – всего три раза. Обычно ему хватало взгляда. Глянет на тебя так, что сердце уйдет в пятки, ну и уступишь ему, все равно ведь он сделает по-своему. Я видела, как грозный пес поджал хвост и заскулил от одного взгляда моего братца! Почти у всех Сарнов глаза серые – серо-стальные, цвета озера зимой, – и мужчины у нас в роду обычно угрюмы и нелюдимы. «Хмурый, как Сарн», – говорят в здешних краях. А еще говорят, что семейство наше со странностями – с тех самых пор, как во времена религиозных войн Тимоти Сарна ударила молния. Сарны уже и тогда жили здесь, они всегда здесь жили, как только тут поселились люди. Так вот этот Тимоти пошел против народа и наставлений служителя Божьего и встал на сторону их противников, кто б они ни были, да и речь теперь не о них. Короче говоря, ударила его молния, и он упал без чувств. Однако опомнился, и священник начал увещевать его перейти на правильную сторону и тем наперед уберечься от молнии. Но Сарны всегда были большие упрямцы. Тимоти остался на своей несправедливой стороне, и однажды, когда возвращался домой через дубовый лес, его снова ударило. Должно быть, молния вошла в его кровь. Он умел предсказывать бурю задолго до ее начала, и, по слухам, в грозу вокруг него плясали языки пламени, так что никто не смел к нему приблизиться.

У всех Сарнов после Тимоти в крови молния. Так говорят. Не знаю, правда это или нет, слишком уж давняя история, чтобы считать ее чистой правдой. Хотя подчас мне казалось, что и само наше место, наш Сарн, слишком древнее, чтобы существовать взаправду. И лес, и ферма, и церковь на дальнем берегу озера – все было старое-престарое, словно приснилось кому-то во сне. И делалось жутко, и люди боялись ходить туда затемно. Из звуков только тихий плеск выпрыгнувшей из воды рыбы да стук Гедеоновой лодки о ступени – будто кто-то часами стучится в дверь. А сразу за нашей садовой калиткой в озеро уходил длинный мол, такой длинный, что конца его было не видно... Словом, очень пустынное и старое место наш Сарн. Воскресными вечерами над водой разносился слабый колокольный звон. В детстве мы думали, что звонят в подводной деревне, но теперь я думаю, что то было просто эхо колоколов нашей церкви. Говорят, есть такие места, где звук отскакивает от стены деревьев и летит назад, точно мяч.

И в один из воскресных вечеров, когда слабый звон вторил нашим четырем церковным колоколам, мы второй раз подряд прогуляли службу. Уж больно хороший выдался вечер! Родителям было не до нас, пришлось срочно заняться пчелами – те стали роиться. Ну мы с братом и решили этим воспользоваться, но сперва хотели подкараулить у погоста Джансис и позвать ее играть с нами. Папаша Бегилди не особо следил, ходит ли дочка в церковь, он и пастор друг друга

не жаловали. Каждое четвертое воскресенье – служба у нас бывала только раз в месяц (пастор служил также в Брамтоне, где он жил, и еще в одном месте), и прогуливать церковь нам строго запрещалось, – так вот, каждое четвертое воскресенье, когда стрелки часов показывали пять, Бегилди отсылал Джансис в церковь, а приходила она туда рано или поздно, и приходила ли вообще, о том он ее никогда не спрашивал и тем более не требовал отчета о проповеди. Наш-то отец учинял нам допрос перед сном, когда мы были уже в ночных рубашках. Он садился на большую скамью с высокой спинкой, держа наготове березовую розгу, и скамья, которая всю неделю казалась очень внушительным предметом мебели, вдруг делалась маленькой, будто игрушечная. На что бы отец ни сел, все казалось маленьким. Мы стояли босыми ногами на холодных каменных плитках в рубашках из небеленого полотна, сотканного из маминой пряжи бродячим ткачом у нас на чердаке среди ларей с яблоками, и отец задавал вопрос за вопросом и, если ответ был неверный, делал метку на скамье: каждая метка – удар розгой в конце экзамена. Читать отец не умел, но помнил все наизусть. Должно быть, повторял про себя, пока работал. Недюжинного ума был человек, так я думаю, да только не знал, чем занять свой ум. Вот дали бы ему следить за работой новейшей ткацкой машины, о которой мне недавно рассказывали, может, он бы и успокоился, но в то время о подобном чуде не слыхивали. Кроме нас с братом, других машин у него не было, и каждое четвертое

воскресенье, а также в Рождество и на Пасху мы горько сожалели, что отец наш не Бегилди, хотя пастор считал Бегилди нечестивцем и прилюдно, с амвона, его порицал.

Помню, однажды в пасхальное воскресенье после долгого и скучного нравоучения отец уж очень жестоко нас высек, и Геден, стоя посреди кухни, в лицо ему объявил:

– Я хочу быть сыном мистера Бегилди, и пусть дьявол заберет себе мою душу! Да будет так. Аминь.

Ох и разошелся тогда отец! Потом еще и на маму набросился, дескать, это она виновата, что с детьми сладу нет, не зря у ее дочки на лице дьявольское клеймо, а теперь вон и мальчишка свой норов показывает... Ведьмино отродье! Я знаю, потому что позже мама передала мне его слова. А в ту минуту я просто увидела, как она вся сжалась в комок, – она и вообще-то была маленькая, а тут стала совсем крошечная, словно сказочный эльф, – и давай причитать:

– Разве я виновата, что заяц дорогу перебежал? Чем же я виновата?

Странно было мне слышать, как она опять и опять повторяет одно и то же. Я и теперь ясно вижу наш дом и кухню, если закрою глаза, особенно если рядом стоит букет первоцветов. Пасха в тот год была поздняя, на дворе уже стало тепло, в укрытых от ветра местах полезли первоцветы, и мы нарвали букет для дома. В кухне было темно, как в пещере, но в очаге горел слабый огонь, и красный очаг, точно око Господне, из темноты наблюдал за нами. Маленький крас-

ный глаз – блик от очага – светился на каждом предмете кухонной утвари. В последующие годы я часто смотрела на эти красные огоньки – отражения большого огня (точно так же как призрачные колокола были эхом настоящего церковного звона) и постепенно пришла к мысли, что это часть игры нашего видимого мира. Множество красных мерцающих огоньков тут и там, но они только призраки огня! И тихие веселые перезвоны не более чем призраки колокольного звона, лишь слабое эхо, оттолкнувшееся от стены из листьев или от зеркала воды. В отцовских глазах тоже был отсвет огня, и в глазах Гедеона, но не в маминых, потому что она стояла спиной к очагу у стола с первоцветами и собирала тарелки и кружки после нашего ужина. И если кому-то покажется странным, что ребенок так хорошо запомнил далекое прошлое, подумайте вот о чем: время вырезывает свои картинки на нашей памяти, как мальчуган вырезывает ножичком буквы, и чем меньше букв, тем глубже след. В Сарне с нами так мало всего приключалось, что немногие события запомнились на всю жизнь. И мамин голос посейчас цепляется за сердце, как цепляются за юбку на луговой тропе тонкие клейкие нити липучника. Голосок у мамы был слабый, жалостный. Такой жалостный! И что бы она ни сказала, во всем чудился скрытый смысл и какая-то недосказанность. Иногда я представляла себе человека, который в потемках пытается что-то нашарить или бредет наугад по длинным черным проходам, выставив в стороны ладони, один в крошечной тьме.

Вот так же прозвучали ее слова: «Разве я виновата, что заяц дорогу перебежал? Чем же я виновата?»

Что бы она ни сказала, даже если в этом не было совсем ничего смешного, на лице ее всегда появлялась слабая улыбка; так улыбаются, когда хотят кого-то умиловить или когда больно поранятся, но стараются не показывать виду: очень жалкой была ее улыбка, всегдашняя улыбка! И когда отец принялся сызнова лупить Гедеона за то, что тот пожелал быть сыном Бегилди, мама, стоя у стола, то и дело повторяла: «Ох, Сарн, не надо! Прекрати, Сарн!» – и все время улыбалась, словно своим тихим голосом хватала отца за руки. Бедная мама! Бедная, бедная моя мама! Встретимся ли мы с тобой на том свете, родная душа, воздадим ли тебе за нашу тогдашнюю черствость?

Я навсегда запомнила ту Пасху, но Гедеон, как видно, забыл, и, когда я напомнила ему, что прогул будет нам дорого стоить, он отмахнулся:

– А, пустяки! Скажем Тивви Секстон, чтобы как следует слушала проповедь, потом перескажет нам, и мы запросто ответим отцу. Я готов и порку стерпеть, если найду хорошие конкеры и поквитаюсь с Джансис, а то в прошлый раз она у меня выиграла.

Знаете ли вы, что конкеры – это порожные раковины улиток? Теперь дети играют каштанами, а мы нанизывали на веревку улиточью ракушку. Улиток в наших лесах было види-

мо-невидимо, и Гедеон устраивал поединки даже с ребятами, которые жили за пять миль от нас, на дальнем берегу озера Плаш. Он был знаменитость в своем роде: прославился тем, что бился так яростно, будто это была не забава, а бой всерьез.

Когда в то июньское воскресенье мы вышли из дому, звонили все колокола – четыре металлических колокола со стороны нашей церкви и четыре призрачных колокола из ниоткуда. Мама помогала отцу с пчелами – готовила роевню под большим каштаном. Вылетевший рой привился на мертвом кусте крыжовника, и мама, со своей особенной полуулыбкой, заметила: «Это к смерти».

Но Гедеон нараспев крикнул ей:

В мае рой – прибыток в доме,
Рой в июне – суп в кастрюле...

И от себя прибавил:

– Покуда у нас есть пчелы, мама, нам бояться нечего, кто бы там ни помер!

Ах, боже мой! Боюсь, Гедеон уже тогда думал только о барышах. Но отцу практичность сына пришлось по душе, и он со смехом заметил:

– Хм, нынче у нас и правда богато пчел, так что ежели кто и помрет, надеюсь, это буду не я.

– А где ваши веточки розмарина, и молитвенники, и чи-

стые носовые платки? – спросила мама.

Гедеон рассчитывал оставить все лишнее в доме, но после ее слов бегом вернулся исправить «оплошность», а мама принялась разглаживать платок на моих плечах. Потом сколола концы у меня на груди большой брошью с черным камнем, которую ей купили по случаю кончины Георга Второго, и, пока возилась с булавкой, бормотала себе под нос: «Как ни наряжай бедняжку, все одно... Ах боже ж ты мой! Но разве я виновата, что заяц дорогу перебежал? Чем я виновата?»

Всякий раз, когда она вспоминала о зайце, в ее голосе слышалась скорбь. И мне опять привиделся человек в темном проходе, который ощупью прокладывает себе путь.

– Будет тебе, мать! – оборвал ее отец. – Давай держи ровню, а я приподниму сук. Уж больно низко привились.

Будь моя воля, я бы задержалась – я очень любила смотреть на роевую гроздь, тяжелую, коричневую, как рождественский кекс, и слушать непрерывный пчелиный гул.

Мы с братом вышли из калитки и по верхней тропе двинулись кратчайшим путем к церкви – надо было успеть перехватить Тивви, пока она не зашла внутрь. На озере плавали камышовые курочки, а вода слилась с солнечным светом, вся исколотая блестящими стрелами.

– Готова? Бежим! – сказал Гедеон. – За нами погоня.

– Кто гонится за нами?

– Обитатели подводного царства.

И мы припустили что было духу. К церкви подбежали,

когда два малых колокола затренькали напоследок: «Звяк-бряк! Звяк-бряк!» Их назойливая песня всегда напоминала мне о розге.

Мы усадились на могильную плиту, где обычно играли в конкеры, и оттуда – церковь стояла на пригорке – наблюдали за редкими прихожанами, которые поднимались по дороге среди зеленых просторов. Мы увидели Тивви, которая вместе с отцом вышла из Восточного леска, и Джансис на заливном лугу, между высокими живыми изгородями из боярышника в цвету. Джансис была малорослая, не то что я, но ее всегда замечали прежде других, как будто свет падал на нее одну. Из-за пышных золотистых волос даже тени на ее лице казались бледно-золотыми. Про себя я сравнивала ее с белой кувшинкой, заполненной желтой пылью или медом. Кожа у нее была молочно-белая, и только если Джансис волновалась или смущалась, легкая краска заливала ее мягкое, в меру пухленькое личико. А еще у нее был пунцовый улыбчивый рот, и, когда она улыбалась, на щеках играли лукавые ямочки. Ох уж эта улыбка Джансис – так бы и задушила ее!

Она приделась: цветастый лиф, синяя юбка, в узел платка на груди воткнут букетик цветов. Завидев нас, Джансис несмело приблизилась.

Она была всего на два года старше меня, ровесница Гедео-на, хотя казалась взрослее, и люди вокруг говорили: «Дочка Бегилди скоро будет невестой». Но я-то знала, что Бегилди не собирался выдавать дочь замуж. Он хотел держать ее

при себе как приманку для молодых мужчин, а то ведь к нему обращались все больше девицы без гроша в кармане да старики, желавшие задешево навести порчу на недруга. Едва Бегилди понял, в какой лакомый кусочек превращается его Джансис, он стал уговаривать ее наряжаться и сидеть у окна в их Каменном Доме, на случай если кто-нибудь стоящий пройдет мимо. Надежда на это, говоря по правде, была очень слабая, потому что Плаш почти такое же пустынное место, как Сарн. Бегилди даже смастерил фонарь из цветного стекла – цвета пунцовых роз – и, пока Джансис сидела в каменном обрамлении окна, над головой у нее висел фонарь, и в нем горела настоящая толстая свеча из дальних краев, а не простая камышовая свечка, какими все мы пользовались. Замысел у него был такой: если вдруг какой-то важный джентльмен проедет тут по пути на ярмарку или на петушинные бои, то, может быть, он влюбится в Джансис, и тогда Бегилди зазовет его в дом, угостит крепким элем, заведет с ним беседу о колдовских чарах и заклинаниях и наконец предложит совершить для него обряд воскрешения Венеры. У Бегилди в одной из его книг это было подробно расписано: как некто входит в темную комнату, дает чародею пять фунтов и тот произносит магическое заклинание. Спустя немного времени все озаряется розовым светом и наполняется запахом роз – и посреди комнаты с ложа встает нагая Венера. Только вместо Венеры взору путника явится Джансис. Важный джентльмен, однако же, все не ехал, и единственный,

кто увидал Джансис в окне, был Гедеон, который зимним вечером возвращался с рынка мимо их дома: другую дорогу тогда затопило. Увидел и прямо голову потерял, с того дня лишь о ней и говорил, надоел мне своими разговорами, ну да ему в ту пору стукнуло девятнадцать, в этом возрасте парни дуреют. Прежде он ее просто не замечал, вспоминал о ней, только чтобы приказать ей делать то или это, точно так же, как мне. А после совсем помешался на ней. Я никогда бы не поверила, что такой серьезный, решительный и толковый парень может потерять голову из-за девчонки. Но в тот вечер, о котором я говорю, ему было еще семнадцать, и он сказал:

- Улизни со службы, Джансис, пойдем играть в конкеры.
- О, – ответила Джансис, – давайте лучше в «Зеленую тропинку».

Она всегда говорила вначале «О», а потом уж остальное, и губы у нее складывались в розочку. Но делала она это нарочно или потому что была глупа и застенчива, я не могла бы сказать.

– В твоей хороводной «Тропинке» никто не выигрывает, – возразил Гедеон. – Сыграем в конкеры.

– О нет, лучше в «Зеленую тропинку». В конкеры ты меня обыграешь.

– Ха! Для того мы и будем играть.

В эту минуту появилась Тивви, и мы объяснили ей, что от нее требуется. Несчастливая дурочка Тивви с трудом помнила собственное имя – имя-то, правду сказать, несуразное, – где

уж ей было запомнить проповедь! Но Гедеон заявил, что ему нужна от нее только маленькая подсказка, остальное он сам домыслит. И пригрозил больно выкрутить ей руку, если она даже с этим не справится. Бедняжка от страха заплакала.

Но тут мы увидели ее отца, пономаря Секстона. Он степенно шел через ближнюю пашню со своим длинным железом, перевитым черной и белой лентами. А на дорожке слышался стук копыт пасторского пегого пони, так что мы поскорей убежали, а Тивви осталась; от слез у нее дрожал подбородок и рот перекосился, ведь она наперед знала, что ни слова из проповеди не запомнит. Когда я в церкви наблюдала за Тивви, то представляла себе нашего пса во время мытья: он просто ложился и покорно лежал, пока его поливали водой – вот так же и Тивви терпела службу. Поэтому я знала, что нас ждут неприятности.

Вечер был чудесный, ласточки летали высоко, и пахло цветущим боярышником. Когда колокольный звон умолк – и наш, и тот, нездешний, – мы подошли к озеру и, как обычно по воскресеньям, стали вглядываться в воду: вдруг увидим подводную деревню? Но там была только наша церковь вверх ногами да несколько могильных камней и крестов, тоже перевернутых; да пасторский пони щипал траву, стоя на голове.

Иногда летним вечером, когда солнце стояло низко, тень от церковного шпиля доходила по воде почти до нашего дома, и я думала, что это перст Божий, указующий на нас.

Мы спустились в болотистую низину и собрали там целую кучу конкеров, и Гедеон всякий раз одерживал верх над Джансис, что было к лучшему, так как в конце концов он согласился сыграть в «Зеленую тропинку» и они оба остались довольны. Мы заигрались и чуть не упустили Тивви.

– Ну, выкладывай! – потребовал Гедеон.

Она заплакала и сказала, что ничего не помнит. Он больно вывернул ей руку, она вскрикнула и выпалила:

– На сожжение, в пищу огню!⁸

Должно быть, Тивви брякнула первое, что пришло на ум, просто потому, что ее отец-пономарь любил этот стих и частенько повторял его вслух, отстукивая ритм своим жезлом.

– А еще что?

– Ничего.

– Гляди, останешься без руки, если не вспомнишь еще что-нибудь.

Глаза Тивви хитро сощурились, как у кошки в молочне.

– Пастор говорил про Адама и Еву, про Ноя и Симхамяфета⁹, про Исуca в яслях и тридцать сребреников.

– В этом нет никакого смысла.

– Но она же тебе ответила. Отпусти ее.

С тем мы и отправились домой – куда указывала тень от церковного шпиля на озере.

⁸ «Ибо всякая обувь воина... и одежда, обогрелая кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню» (Ис. 9: 5).

⁹ *Сим, Хам, Иафет* – сыновья библейского патриарха Ноя.

Отец сразу спросил:

– Что читали из Библии?

– На сожжение, в пищу огню!

– А о чем была проповедь?

Бедняга Гедеон состряпал небылицу из всего, что наговорила Тивви. Вы такой истории сроду не слыхивали! Отец выслушал ее, не издав ни звука, а мама страдальчески улыбалась, стоя у очага, – она готовила бекон нам на ужин.

Внезапно отец взорвался:

– Врун! Врун! Пастор только что заходил, справлялся, здоровы ли все, почему никого не было в церкви. Мало того что ты прогулял службу и наврал, ты еще вздумал дурачить меня!

Лицо его покраснело, потом побагровело, все жилы вздулись – не лицо, а кусок сырого мяса. Страшно смотреть! И он потянулся за хлыстом.

– Ну держись, сынок, я с тебя три шкуры спущу!

Он через кухню двинулся к Гедеону.

Но Гедеон неожиданно рванулся ему навстречу, наскочил на него и повалил на пол. Мы так и не поняли, что произошло. То ли отец слишком плотно поужинал, умаявшись целый день возиться с пчелами, то ли впал в дикое неистовство, а потом еще был оглушен ударом об пол... Как бы там ни было, с ним случился припадок. Он не двигался. Лежал плашмя на спине на красных каменных плитках и хрипло дышал, как будто храпел во сне на весь дом. Мама развязала

его воскресный шейный платок, приподняла его за плечи и стала обтирать ему лицо холодной водой, да все напрасно.

Ужасный храп не прекращался, поглотив все прочие звуки: они угасли, как камышовые свечи на сквозняке. Ни тиканья часов, ни кошачьего урчания, ни шипения бекона на сковороде, ни жужжания пчелы в окне. Отцовский храп заодно поглотил, казалось, и свет, и запах от куста белых роз за окном, и всякое чувство в моем теле, и мысли, которые были у меня прежде. Всё вокруг и мы сами растворились в зловещем храпе.

– Сарн, Сарн! – вскричала мама. – Ох, Сарн, бедный ты мой, горемычный, очнись!

Она попыталась влить ему в рот глоток голландского джина, но губы не разжимались. Затем храп сменился дробным стуком зубов – слушать это было нестерпимо! – и вскоре наступила жуткая тишина, будто мир онемел. Все это время Гедеон стоял как вкопанный, помня об угрозе отца отходить его хлыстом (так он потом объяснил). Когда отец затих и дом онемел, Гедеон – хотя прежде ни один человек не умирал у него на глазах – сказал своим будничным, почти не дрогнувшим голосом:

– Он умер, мама. Пойду скажу пчелам, не то мы их потеряем.

Мы долго плакали, то есть мама и я. Потом вытерли слезы – не могли больше плакать, и к нам понемногу стали возвращаться разные мелкие звуки: тиканье часов, шорох упав-

шей головешки в очаге и дыхание спящей кошки.

Когда Гедеон вернулся в дом, мы втроем перетащили отца на матрац и завернули в чистую простыню. Багровый румянец сошел с его лица, и он лежал совсем как живой: красивый и статный.

Гедеон запер ворота и пошел взглянуть на скотину.

– Ложись спать, мама, – сказал он. – Кругом все тихо, скотина в хлеву. Я обошел все роевни, рассказал пчелам, что случилось, – что теперь я их хозяин. По-моему, они довольны.

Глава третья

Пру созывает соседок

В те дни у семьи покойного до самых похорон не было времени предаваться скорби. Столько дел и хлопот – знай успевай поворачиваться! Для начала всем нужно ведь одеться в траур, а траур нужно из чего-то сшить. Хорошо, если незадолго до беды в доме побывал ткач, а если нет, тогда надо самим спешно соткать полотно и окрасить его в черный цвет. Мы давненько не звали к себе ткача, и полотна у нас оставалось совсем ничего. Мама велела Гедону съездить за старым ткачом, который жил в Лаллингфорде, возле гор, и ходил по домам работать поденно или понедельно. Гедон оседлал Бендигу, отцовского коня, и взял отцовский хлыст, загадочно ухмыльнувшись. Он отправился в путь, а мы с мамой принялись печь. Накормить предстояло не только ткача, но и всех женщин, которых мы собирались созвать на подмогу, чтобы сшить все необходимое для похорон. Работают соседки задаром, таков обычай, но хозяевам полагается их кормить.

Вечером нам было одиноко без Гедона. Он должен был заночевать в Лаллингфорде, но, по счастью, задержался там не надолго и на следующий день явился пораньше: сквозь жужжание прялки я услышала стук копыт по булыжнику во дворе. Мы трудились не покладая рук, чтобы спрясть по-

больше к приезду старика. Он прибыл вслед за Гедеоном на большой, белой и ужасно костлявой лошади, и я вспомнила про всадника на белом коне из Библии¹⁰. Ох и старый же был этот ткач из Лаллингфорда! Ковылял вокруг станка вприпрыжку, точно сорока, а сам то и дело поглядывал на челнок – ну чисто сорока, которая глаз не спускает с блестящей вещицы. Еду я носила ему на чердак, где он работал, – ткач не желал зря терять время и спускаться к столу. Хорошо, что яблоч на чердаке уже не осталось, и старик мог ковылять без помех.

– А ты, Пру, займись приглашениями – надо разнести письма всем, кто придет и поможет нам с шитьем, – велела мне мама.

– Можно, я отнесу письмо Джансис?

– Нет. Мы не будем тратить на письмо для Джансис. Но пусть придет, если хочет, пожалуйста!

– Я сбегая скажу ей. Она шьет хорошо, аккуратно.

– Но все же не так хорошо, как ты, моя девочка. Чего-чего, а этого у тебя не отнять: шовчик ровнехонький, стежок к стежку.

Я убежала, страшно довольная похвалой: мне редко говорили что-то приятное. У озера я повстречала Гедеона.

– Созываешь соседок? – угадал он.

– Ага.

– Джансис тоже позовешь?

¹⁰ Откр. 6: 2; Откр. 19: 11.

– Ага.

– Когда пойдешь к ним, попроси Бегилди дать нам на похороны белых волов, ладно?

– Отвезти отца?

– Ну да. Как схороним его, нам с тобой нужно будет кое-что обговорить. На будущее. Тут есть о чем подумать. Взять хоть эти письма соседям. Могла бы сама написать их, целую крону сэкономи бы.

Я удивилась, к чему этот разговор, знает же, что я не умею писать, но промолчала: сам растолкует, когда захочет, но не раньше, такой человек. Никто не подумал бы, что ему всего семнадцать. По тому, как он говорил – четко, быстро, не повышая голоса, – моему брату можно было дать все двадцать пять.

Когда я пришла в Плаш, Джансис сидела в саду за прялкой. Она сказала, что одолжит нам волов – они ведь по праву принадлежали ей, она получила их в подарок от своей бабки, только ни тогда, ни потом у нее не было сил править воловьей упряжкой или пахать на волах (как я стала вскоре пахать). Одалживая их на престольные праздники, она неплохо зарабатывала себе «на булавки», если Бегилди не успевал прикарманить ее денежки. Белые вола, если их хорошенько отмыть и украсить цветами и лентами, выглядят очень красиво.

Я зашла к ним в дом известить Бегилди.

– У нас умер отец, мистер Бегилди, – сказала я.

– Так-так! И что мне с того, душенька?

Странный был человек, этот Бегилди, всегда был очень странный.

– Лучше скажи мне о том, чего я не знаю, дитя.

– А вы разве знали?

– Да уж знал, знал я, что отец твой покойник. Недаром в минувшее воскресенье он пролетел тут под вечер с порывом ветра и крикнул мне слабым таким, но ехидным голосом: «Ты должен мне крону, Бегилди!» Расскажи мне что-нибудь поновее, девочка... что-нибудь необычное, интересное. Вот если бы ты, к примеру, сказала, что нынче, в июньский день, с деревьев облетают листья и у меня в саду поспела тернослива; или что озеро наше вдруг высохло все; или что у людей пропала охота мучить любимых; или что Джансис перестала смотреть на свое отражение в Плаше – вот это была бы новость! А про отца твоего слушать скучно. Он никогда мне не нравился.

Бегилди взял молоточек и начал стучать им по кремнёвым пластинам, висевшим рядом перед ним, словно бы ворожил с помощью звуков. У каждого камня был свой голос, и Бегилди знал все голоса наизусть, как пастух знает своих овец. Всякий раз, когда разговор его не устраивал, он принимался выстукивать какую-нибудь одному ему известную мелодию.

– Я пришла спросить, не дадите ли вы своих волов нам на похороны. Джансис разрешает.

– Вам придется заплатить.

– Сколько, мистер?

– Столько же, сколько платят, когда берут их на праздник, – по пенни за каждого. Поди, и соседок хотите созвать на шитье? И письма уже написали? Кому ж заплатила за них твоя мама?

– Их написал для нас пастор, а мама опустила крону в ящик для пожертвований.

– Неслыханно! Можно ли так швыряться деньгами! Я за половину этой цены написал бы куда как красивее. Я всякий шрифт знаю, хоть крупный, хоть мелкий, хоть прописными выведу буквами, хоть печатными, хоть черными чернилами, хоть красными. А пастор только и умеет проповеди строчить одним шрифтом, да и тот кургузый.

– Я хотела бы сама уметь писать, мистер Бегилди.

– Что? Ты? – Он засмеялся; смех у него был особенный – тихий, легкий, словно вылетал из верхушки его головы. – Это не детское дело.

Но я уже размечталась о том, как славно было бы сидеть в уголке у очага и самой писать и приглачительные, и любовные письма, и векселя... или даже стих для надгробия; самой выводить буквы – круглые или квадратные, маленькие или большие, красные или черные, а то и такие, какими пишут проповеди, смотря по настроению. И если кто-нибудь вроде Джансис разозлит меня своей миловидностью, я могла бы в отместку писать ее письма корявым почерком – и ни одной красной буковки! Но я понимала, что это нехорошие мысли,

ведь бедняжка Джансис неповинна в своей красоте.

Потом Бегилди уехал спасать от болезни пшеницу у какого-то старика, и мы с Джансис стали играть в жениха и невесту, но Джансис сказала, что я никуда не гоюсь и у Гедеона получилось бы намного лучше.

Глава четвертая

Факелы и розмарин

Отца хоронили в безветренный росистый летний вечер. В то время у нас в Сарне и окрест еще держались обычая хоронить людей ввечеру. В нашей семье так поступали из века в век. Я целый день украшала повозку ветками тиса и лавровишни с белыми соцветиями и сильным сладким запахом. Я срезала все наши белые розы и несколько расцветших гвоздик и – что было делать? – собрала ромашки на покосе. Пока рвала их, все думала, как рассердился бы отец, увидев, что я топчусь по траве, и меня подмывало оглянуться, не идет ли он.

После дойки Гедеон сходил за волами, и я надела им на шею черные ленты, а рога обвязала тисовыми ветками. Тут требовалась большая осторожность: волы были длиннорогой породы, с такими шутки плохи – подденут рогом, и поминай как звали.

Гроб выносили мельник Миллер и мистер Каллард, фермер из Каллардовой лощины, который владел всей землей между Сарном и Плашем. Им помогали наши дядья, оба прибыли из-за гор.

Гедеон, как распорядитель похорон, надел высокую шляпу с черными лентами и черные перчатки; он опирался на витую черную трость, тоже с лентами. Вынести гроб из дому

было целое дело, потому что двери были все узкие, а гроб большой и тяжелый. Всякий раз, когда кто-нибудь из Сарнов умирал, история повторялась, но никому не приходило в голову сделать двери пошире.

Во главе процессии шел пономарь Секстон с непокрытой головой и с факелом в руке. За ним ехала телега с гробом; волов вели два мальчика, сын мельника и еще один паренек. Повозка была убрана зелеными ветками, и все хвалили меня. А я вспоминала, как бедный отец всегда требовал, чтобы я вынесла из дому весь этот зеленый сор. И думала, что теперь его самого вынесли из родного дома и везут-трясут по камням прочь от места, где он столько лет был хозяином. Разве это правильно? Бросить беднягу совсем одного на другом конце озера казалось мне верхом жестокости, если не надругательством. Хорошо еще, что стоял теплый июньский вечер и было не очень темно.

Нам пришлось пойти кружным путем, короткая дорога была непроезжая.

Когда мы вышли на дорогу – через скотный двор, мимо навозной кучи, – все заняли свои места: Гедеон сразу за гробом, один; затем мы с мамой, обе в черных капорах и черных платках, с молитвенниками и веточками розмарина в руках; позади нас дядя, и мельник Миллер, и мистер Каллард – каждый нес факел и пучок розмарина.

Это хорошая дорога, сравнительно с другими почти гладкая, – дорога на Лаллингфорд. Пастор рассказывал, что ее

построили чужестранцы, которые жили в одно время с нашим Спасителем. Римляне, так он их называл. Пусть и римляне, но дороги они делать умели. Дорога тянулась вдоль берега, прямо над озером, и, пока мы медленно продвигались вперед, я смотрела на воду и видела там всех нас. Картина была смутная, потому что свет падал лишь от тонкого месяца, который прятался за облаками, да от наших факелов. В темных водах можно было разглядеть какое-то движение, какие-то отблески и вспышки, но, когда месяц вынырнул из-за туч, появились и наши фигуры, черные, как тени рыб, что скользят под водой. Большое черное пятно означало повозку; впереди нее плыли волны, словно опрокинутые облака; и факелы были опущены в воду, как будто мы хотели их за тушить.

Все время, пока мы шли, от церкви доносился погребальный звон. Станным был звук колокола над водой в поздний час, и еще страннее отзывалось эхо. Один раз над нами пролетела белая сова – неслышно и плавно, как перышко. Мама сказала, что это душа отца в поисках своего тела. Тишину нарушал только колокольный звон и скрип колес, пока кобылка-пони пастора, щипавшая траву на церковном лугу, не увидела издали темные очертания волов и не заржала, приняв их по ошибке за своих братьев, – обрадовалась, что ночью они будут поблизости и скрасят ее одиночество.

Скрип колес смолк у кладбищенских ворот. Гроб сняли с повозки и опустили на козлы. Сквозь пыхтение и сопение

носильщиков раздалися слова надежды:

«Я есмь воскресение и жизнь»¹¹.

Точно ласковый дождь после засухи. Только я одного не могла понять – какими мы будем, когда воскреснем. Будет нас видно так же ясно, как теперь, или же смутно, как в воде? Возродится отец в приступе ярости, как в свой смертный час, или снова станет маленьким мальчиком и подбежит к своей бабушке с букетиком первоцветов? Будет ли мама улыбаться все той же растерянной улыбкой или она найдет-таки свет в темном проходе? Буду ли я опять заперта в теле, которое мне не нравится, или же каждому позволят соткать себе тело по нраву из пряжи души?

Гроб между тем перенесли на другие козлы, у края могилы, и накрыли белой материей (нашей лучшей скатертью). Сверху поставили большую оловянную кружку с вином из бузины. Это было единственное, что мама смогла предоставить, счастье еще, что у нее сохранился изрядный запас, достаточный и для поминок, и для всего остального: в прошлом году бузины уродилось тьма-тьмушая. Странно было видеть бузинное вино на гробе, ведь мы привыкли видеть его на столе, когда в нем отражался веселый огонь от рождественского полена.

Пастор вышел вперед и поднял кружку:

– За упокоение усопшего.

И все стали по очереди подходить и пить за здоровье от-

¹¹ Ин. 11: 25.

цовской души.

В ногах гроба стояла наша мерная оловянная стопка с вином, и рядом лежала корка хлеба, но ни к тому ни к другому никто не притронулся.

Потом вперед выступил пономарь Секстон.

– Есть ли здесь грехоед для покойного? – спросил он.

– Ах, нет! Увы мне, увy! – вскрикнула мама. – Нет грехоеда для несчастного Сарна! Гедеон воспротивился.

Надо объяснить, что в то время в наших краях еще сохранялся обычай по смерти родственника нанимать за небольшую мзду какого-нибудь бедняка, с тем чтобы он взял хлеб и вино, протянутые ему через гроб, и, вкусив их, произнес:

Дабы ты упокоился с миром, добрый человек, и не блуждал по полям и проселкам, я сей же час отдаю в заклад свою душу.

После этих слов он с видом торжественным и печальным возвращался на свое место. Как говорил мой дед, раньше грехоедами обычно становились ведуны или духоловы, для которых настали не лучшие дни. Или последние бедняки, которые в прошлом чем-то запятнали себя, и потому люди не желали с ними знаться и дел никаких не имели, так что нередко хлеб и вино, поданные через гроб, были их единственной пищей. В нашу бытность в Сарне таких уже не осталось, все повымерли, и, чтобы найти подходящего человека, надо было ехать к горам. Путь к нам оттуда был неблизкий, и редкие нищebroды заламывали за свою услугу высокую це-

ну. Дармовые грехоеды перевелись. И Гедеон объявил:

– Лишняя трата денег. Зачем это нужно?

Но мама всю ночь убивалась и плакала. И когда пономарь Секстон возгласил: «Есть грехоед для покойного?» – она снова ударилась в слезы, потому что отец умер во гневе, не покаявшись, и умер к тому же в сапогах, а это очень-очень дурная примета. Она считала, что грехоед ему необходим, и никакие уговоры не помогали.

И тут случилось невероятное, отчего все онемели.

Гедеон подошел к гробу и заявил:

– Да, есть у него грехоед.

– Кто же это? Я никого не вижу, – сказал Секстон.

– Я буду его грехоедом.

Он поднял стопку, до краев заполненную темнотой, и взглянул на маму.

– Ты передашь мне ферму и все хозяйство, мама, если я буду грехоедом?

– Нет, не надо! Грехоеды – проклятые люди!

– Что за беда выпить глоток твоего вина и заесть его коркой твоего хлеба? Но если тебе все равно, так и скажи. Тогда он сам ответит за свои грехи.

– Нет-нет! Избавь его, Гедеон! Пусть обретет покой, несчастный он человек! Ты молод, полон жизни, а он уже холодный и беспомощный, во власти Сатаны. Он ушел от нас со всеми своими грехами, да еще в сапогах! Раз больше помочь некому, пусть хоть собственный сын сжалится над ним.

– И ты отдашь мне ферму, мама?

– Да! Да, сынок! Что мне ферма? Забирай все себе, на здоровье!

Тогда Гедеон выпил залпом вино и съел корку хлеба. В полной тишине слышно было, как он жует и глотает.

Он положил руку на гроб, распрямился – высокий в своей высокой черной шляпе, с бледным и словно бы светящимся в потемках лицом – и произнес:

– Упокойся с миром, добрый человек. Не блуждай по нашим лугам и проселкам. И дабы обрел ты покой, отдаю в заклад свою душу. Аминь.

Все разом вздохнули – как будто ветер пробежал по сухим колоскам лисохвоста. Даже волы за воротами и те, кажется, вздохнули, жуя свою жвачку.

Но когда Гедеон произнес: «Не блуждай по нашим лугам и проселкам», я подумала, что в его устах эти слова прозвучали угрозой, дескать, не ходи на мою землю!

Настало время бросать розмарин в могилу. Потом туда опустили гроб, и все побросали на него горящие факелы, которые сразу же и затушили.

На этом похороны закончились, и мы наконец пошли домой коротким путем, только Гедеон с повозкой отправился в объезд по дороге. Шли мы гурьбой – все, кто был в церкви на службе, отправились к нам на поминки: кузнец, погонщик волов с фермы в Плаше, пастух с горы, работник с мельницы и разные женщины, не считая всех тех, о ком я сказала

раньше.

Мама заранее попросила Тивви приглядеть за огнем и нагреть воды в чайниках, чтобы приготовить пряный эль и горячий поссет: ночью с озера тянет холодом и сыростью. Когда мы добрались до дому, то застали там не только Тивви, но и миссис Бегилди с Джансис. Огонь в очаге ярко горел, и огромная роговая кружка эля уже стояла на плите. Добрая душа была миссис Бегилди, и мне жаль, что ее не любили из-за мужа-колдуна, изгоя и вероотступника. Никто не звал ее ни на свадьбы, ни на крестины. Но похороны ведь другое дело, в дом так и так пришла беда, чего опасаться? А миссис Бегилди нравилось бывать на людях. Она хотела бы жить в Лаллингфорде, и держать лавочку, и по воскресеньям ходить в церковь, и петь в церковном хоре. Она вовсе не верила в колдовские чары своего муженька, хотя и не говорила этого вслух; призналась только мне да, может, какой-нибудь своей подруге. Однажды, много времени спустя, когда в их Каменном Доме случился скандал, о котором вы узнаете позже, и миссис Бегилди крепко поссорилась с мужем, я ненароком застигла ее с «бутылкой леди Кампердин» (где Бегилди, по его словам, закупорил дух старой леди): миссис Бегилди яростно трясла бутылку, словно взбалтывала плохо перемешанный соус, и я даже подумала, как бы пробка не выскочила. «Вот тебе! Вот тебе! – кричала она. – Леди Кампердин тут у него, так я и поверила! Озерная вода! А то я не знаю! Озерная вода, и больше ничего!»

Миссис Бегилди редко попадалась людям на глаза. Днем она дома не сидела – то шла в птичник, то копалась в огороде, то рыбачила. Настоящая рыбачка была! Если бы не она, они все давно положили бы зубы на полку, потому что Бегилди не считал нужным заниматься чем-либо, кроме колдовства.

Она испекла целый противень поминальных кексов на случай, если нам не хватит своих, и была так приветлива и мила – сама пухленькая, белокурая, как Джансис, – и поссет у нее так удался, что все, даже пастор, забыли, чья она жена.

– Я уведу волов домой, моя дорогая, – сказала она маме. – В сенокос нам без них никак.

– Вы уже косите?

– Да, а вы нет?

– Завтра начну, – сказал Гедеон.

Все повернулись к нему. Он стоял в дверях – высокий, под притолоку, и очень в себе уверенный. Мне показалось, что все немного опешили, как если бы парень хватил через край. Пастор засобирился уходить.

– Завтра уже наступило, молодой Сарн, – сказал он. – Желаю успеха, ныне и во все последующие завтра.

– Завтра! О, завтра! – подхватила Джансис. – Смотри не обмани.

Она зевнула, а потом ее губы сложились в розочку – ну что ты с ней сделаешь, прямо мочи нет!

– Споемте! – торжественно призвал пономарь Секстон. –

Одно песнопение на прощанье.

Мы встали со своих мест за столом, на котором догорали двенадцать свечей, и запели:

Когда придет твой час, друг мой,
И обретешь в земле покой, Грехи и милости твои
Снесут на Божий суд.

Из-за перевеса мужчин в хоре песня звучала низко, как пчелиный гул в липовой кроне. Джансис и Тивви пели чисто, звонко и равнодушно, словно их совсем не трогало, что бедный мертвец лежит один в сырой земле.

Потом все зашаркали, затопали и стали расходиться. Мама в дверях раздавала поминальные кексы из нежного бисквита (яиц она не пожалела) в форме гроба: каждый гробик завернут в бумагу с траурной черной окантовкой.

К этому часу уже и птицы распелись, загомонили на все лады, перекликаясь друг с дружкой. Смотрю, наши печные трубы уже опрокинулись в озеро – значит светает. В дубовой роще прокуковала кукушка, на покосе прокричал первый коростель, мал, да удал!

– Спать уже некогда, – сказал мне Геден. – Завтра наступило. Выйдем в сад. Расскажу тебе о своих планах.

Думала ли я, когда шла за ним в сад, где не было еще ни плодов, ни деревьев в цвету, чем обернутся для всех нас его планы!

Глава пятая

Первый прокос

Гедеон влез на старую яблоню, где у нас с ним было любимое местечко между сучьями. Его юное лицо среди молодой листвы никак не вязалось у меня в голове с тяжким грузом грехов. Ведь только подумать: начиная с первых дней жизни отца, когда тот кричал и бился в своей камышовой люльке, и позже, когда подростком прогуливал службу в церкви, и еще позже, когда ездил на петушинные бои и ухаживал за девицами, – все его проступки и прегрешения Гедеон взвалил на себя. И за ужасную гневливость отца теперь он тоже в ответе.

– Вот что, Пру, – начал Гедеон, – послушай, что я тебе скажу. Нам с тобой надо как-то жить дальше.

– Нам и маме?

– Ну да, маме тоже. Но она уже старая.

– Все равно она хочет жить, точно тебе говорю.

– Это не важно. Выживем мы, выживет и она. А нам с тобой надо работать, Пру.

– Я работы не боюсь, – ответила я.

– Работы впереди очень много. Хочу выжать из фермы побольше денег – как можно больше. Потом, когда придет время, мы ее продадим. Уедем в Лаллингфорд и купим там дом, и заживешь ты в богатстве, и лучшие люди будут тебе кланяться.

– Зачем мне все это – поклоны, богатство? Я о таком не мечтаю.

– Ну и зря! А я стану церковным старостой, и настоятель будет меня слушаться, и я буду решать, кого в колодки забить, кого в богадельню отправить, и буду голосовать на выборах в парламент от нашего округа. И если какая-то девка родит ребенка без мужа, ты пойдешь и отчитаешь ее.

– Я бы лучше поиграла с ребенком.

– Поиграть с ребенком всякий может. А отчитать – только важная леди. Мы купим большой красивый дом. Я пока ничего не приглядел, но время терпит. У нас будет сад и работник за садом ухаживать, и служанки в доме, и дорогая мебель, и серебро, и фарфор.

– Красивый фарфор я люблю, – призналась я. – А можно, мы купим новые чашки с блюдами из Стафффордшира, с нарисованными человечками?

– У тебя будет все, чего пожелаешь, и в придачу еще золотой наперсток и целый шкаф платьев. Но сперва ты должна мне помочь. На это уйдет несколько лет.

– А нельзя нам остаться в Сарне, и просто купить кое-какую новую мебель и посуду, и не нанимать кучу работников и служанок?

– Нет. В Сарне слишком мало народу, разве только на поминки толпа соберется, так это бывает раз в год. Что мне раз в год? Что проку быть главным, когда никого нет кругом?

«Главный среди десяти тысяч»¹² – вот это по мне! Хочу быть главным среди десяти тысяч.

– Откуда такие желания? Может, от молнии в крови? – сказала я.

Я всегда думала про молнию в крови Гедеона, если не могла иначе объяснить себе какие-то вещи. Так случилось, когда глаза его вспыхивали холодным огнем и он вынуждал тебя захотеть того же, чего хотел он сам, хотя ты вовсе этого не хотел. Бывало, приспичит ему искать в лесу барсучьи норы, и я вслед за ним начинала думать, что тоже хочу искать норы. Хотя единственное, чего я на самом деле хотела, – это пойти на луг собирать первоцветы.

¹² Неточная цитата из Библии: «...лучше десяти тысяч других» (Песн. 5: 10).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.